



# **В городе N**

**Лев Усыскин**

**В ГОРОДЕ N**

# 1.

В среднерусский губернский город N по частной надобности, требующей непременно посещения нескольких казенных учреждений, приехал богатый помещик соседней губернии Петр Ильич Кириенко. Стоял июль, необычайно засушливый и жаркий в тот год. Наскоро перекусив в перронном ресторане, Петр Ильич вышел на привокзальную площадь, где возле иссякшего еще во время оно фонтана маялось в безнадежном ожидании седоков несколько извозчичьих пролеток, сговорился, легко сбив вдвое предложенную цену, с конопатым извозчиком, вконец одуревшим, невзирая на довольно ранний час, от безделья, жары и мух, и уже через какую-то минуту весьма резво катился по Большой Рождественской улице, стараниями губернских властей за месяц до того вымощенной диабазом. После ночи, проведенной в поезде, обилие свежего воздуха вокруг, мерный ход лошади и съеденный сытный завтрак привели вскоре Петра Ильича в состояние приятной и легкой полудремы, какая только бывает у человека, уверенного абсолютно в благоприятном, выгодном и скором разрешении своих дел.

Петру Ильичу весной исполнилось тридцать пять. Два с половиной года назад он овдовел. Этому предшествовало почти восемь лет вполне счастливой семейной жизни, прошедшей едва ли не целиком в его родовой усадьбе Подгорное, куда молодые супруги переехали на втором году брака, тотчас же по выходе двадцатипятилетнего поручика Кириенко в отставку, и где сменили «на хозяйстве» незадолго перед тем скончавшуюся мать Петра Ильича – Елизавету Васильевну.

Сделавшись сельским жителем, Петр Ильич тотчас же ринулся в омут ежечасных землевладельческих забот, тем более, что превосходное состояние доставшегося ему имения всячески к этому располагало, – ведомое твердой рукою Елизаветы Васильевны, которой окрестные крестьяне по давней еще привычке кланялись в ноги при встрече, оно исправно приносило доход, каковой на момент вступления Петра Ильича в наследство отлился в весьма и весьма кругленькую сумму, приятно удивившую даже самого отставного поручика. Надо было что-то делать с этими деньгами, и Петр Ильич по совету соседского помещика Антипова приобрел выставленный на торги участок леса в

двадцати верстах от Подгорного. Полгода спустя он продал этот же лес уездному предводителю дворянства, выручив дополнительно шестнадцать тысяч. К этому времени Петр Ильич уже многому научился и со многими перезнакомился, вследствие чего не будем удивляться тому, что выкупленные им на высвободившиеся деньги Семеновские болота (поступок, по общему мнению, достойный умалишенного) всего лишь год спустя были отчуждены в казну для строительства железнодорожной ветки. Сколько заработал на этих болотах Кириенко – никто толком сказать не мог, но все сходились в том, что заработал изрядно. С тех пор состояние Петра Ильича только росло и росло – он покупал и продавал леса и мельницы, усадьбы и земельные участки, конные, кирпичные и винокуренные заводы, не брезгуя ничем, однако предпочитая иметь дело с просроченными залогами, каковые на Руси не переводятся, как известно, во веки вечные.

Конечно, не обходилось и без обиженных: были и некие обведенные вокруг пальца сироты, и хлебосольные помещики, разоренные в одночасье, – но в целом Петр Ильич жил легко, как легко живет человек, считающему, что совесть его чиста. Пожалуй, лишь бесплодие жены угнетало его – не одна тысяча рублей перекочевала за эти годы в карманы разномастных эскулапов. В конце концов, их стараниями Анна Модестовна забеременела и умерла родами, успев разрешиться девочкой, пережившей свою мать всего на восемнадцать часов.

Петр Ильич тяжело перенес удар – месяца два, наверное, после похорон он почти не показывался на публике, напротив, говорили, что в это время часто видели его в подгорненской Никольской церкви, куда прежде он не заходил годами и где теперь артель саратовских плотников соорудила на его пожертвования новенький придел Св. Анны. Впрочем, даже и в эти трудные месяцы ни одна сделка не была ни отменена, ни даже хотя бы приостановлена. А уже год спустя Петр Ильич, казалось, вполне оправился от потрясений – он вновь несколько располнел, лицо его вернуло себе гладкие и мягкие черты, столь характерные, по мнению наших новомодных литераторов, для нынешнего типа просвещенного барина русской провинции.

Собственно, так и должно было случиться, ибо время – еще вполне сносный доктор, когда вам тридцать два года от роду.

– Петруша!.. корсар ты эдакий!.. вот кому рад сердечно!.. вот нежданно-негаданно, ей-богу!.. ну, что же ты стоишь здесь внизу!.. Эй, Пахом, возьми чемоданы, живо... да, в гостевые, куда ж еще... Пойдем, Петруша, наверх, пойдем... устал, видать, с дороги... нет?.. да, брось ты, будто я не знаю, как бывает... всю ночь в поезде, шутка ли... как тут не устать?.. тут всякий устанет... еще жара эта, наказание просто... я, вон, по своей воле ни за что б никуда не поехал, хоть чем меня помани... тут прямо подвижником надо быть – да ты и есть такой подвижник, право... потому тебе и благоволит все... нет, в самом деле – оттого и капиталы твои умножаются, все по этой самой причине, не иначе!..

Этими словами Леонтий Николаевич Мартьянов, некогда – лихой ротный командир Петра Ильича, а ныне – вполне почтенный чиновник шестого класса с нарождающейся одышкой и ломотой в суставах, приветствовал своего старого товарища:

– На... вот присаживайся сюда... да... сейчас, сейчас кофе принесут... завтракать хочешь?.. нет? поел уже на вокзале?.. хорошо, хорошо, тогда кофе только... садись... в самом деле, позновато уже завтракать... устраивайся поудобнее, рассказывай, рассказывай все как есть... почитай, полгода в наших краях не показывался, а?..

– Да, Леонтий, около того получается... с зимы... в феврале, когда торги по Максимовскому карьеру проходили, если память не изменяет...

– Как же, помню... утром приехал, а вечером уже курьерским – фьюить!.. и – пропал... и как и не было его вовсе...

– Так ведь жизнь заставила, Леонтий, – Петр Ильич улыбнулся чуть смущенно, – дела позвали, как говорится... мне следующим же вечером в Туле надлежало быть, хоть расшибись...

Мартьянов понимающе кивнул:

– В этот хоть раз не сбежишь, а?

– Не сбегу... дней на пять забот, не менее того...

– Ну, и то славно. Наливай кофе, не стесняйся.

Кофейный глоток, первый, маленький, обжигающий, оставил странное коричневое послевкусие, словно бы кофе и в самом деле варили с пряностями. Кириенко аккуратно поставил чашечку на низкий красного дерева столик и, откинувшись в невероятно мягком Мартьяновском кресле, вытянул вперед ноги. Ему стало совсем хорошо. Мартьянов еще с армейских времен был признанным любителем и ценителем житейского комфорта, каковым, впрочем, он при случае не гнушался делиться с товарищами и сослуживцами, – любая из принадлежавших ему вещей, будь то портсигар, запонка или бельгийская коляска, словно бы сама собой говорила об этом свойстве его натуры, нахваливая вкус и ум своего хозяина, вызывая не зависть, но скорее какое-то странное успокоение, сродни тому, что мы испытываем в церкви: успокоение чувством осмысленности бытия. Петр Ильич отхлебнул еще кофе и, опершись о столик локтем, поднял глаза. Хотел что-то сказать, но, впрочем, Леонтий Николаевич тут же его опередил:

– Ну... что... как у вас?... тоже засуха?..

– Тоже... четыре тысячи десятин выгорело напрочь... убытки...

– Да, и у нас так... – Мартьянов вздохнул, – так же точно... предвижу, многие теперь по миру пойдут... ой, многие... уже к весне, да, к весне, по всей видимости, все решится – крестьяне голодать опять станут, помяни мое слово, начнут по всей губернии хлебушка просить Христа ради на дорогах, как в семьдесят третьем... а то и раньше даже все съедят, кто их знает... – он усмехнулся, затем придал лицу нарочито серьезное выражение, – а мы снова будем деньги собирать всем обществом, как водится... потянется опять канитель дурная... барышни истеричные, суета, болтовня... комитеты эти опереточные... как же без этого – без этого у нас никак!..

Оба ненадолго задумались, затем Леонтий Николаевич вновь прервал молчание:

– Ну, хорошо, засуха засухой, а твои-то дела как идут?.. по-прежнему в гору?..

Кириенко усмехнулся с легким оттенком добродушной грусти:

– Да я ж, Леонтий из этих... кому – война, а кому – мать родна... ты ж знаешь мои дела – в засуху-то самое и время... гроши все стоит... только себе покупай...

– Ну, да... это когда покупаешь... ан, ведь и продавать, небось, иногда приходится... как тогда?..

Кириенко рассмеялся:

– Приходится, верно... но можно ведь и подождать годок-другой... с голоду не помру еще, как видно... да впрочем, коли на то пошло, хороший покупатель засухи в расчет не берет... хороший покупатель, он цену знает... он всему цену знает... настоящую...

Кириенко цокнул языком для убедительности.

– Да что уж там, Леонтий дорогой: тут загвоздка не в том, что продавать надобно, а в том, что купить все не успеваешь... вон, слышал про Кирпичникова?..

– Нет...

– Есть такой Кирпичников... предложил пароходство на Оке купить, да мне не потянуть одному... вот в чем загвоздка... приходится искать товарищей в пайщики... да только нелегкое это дело – как знать, может, и не найду вовсе... – Кириенко на миг замолчал, разглядывая ноготь на мизинце, затем вдруг поднял голову и едва не торжественно произнес:

– Ну, а пока суд да дело – решил вот заводик фон Бокка взять... пока наследница его вчистую не загубила... с этим я, кстати сказать, и приду завтра в твое, Леонтий, канцелярское царство...

Мартьянов в восхищении крякнул:

– Добро... добро, Петруша... и то правильно... иначе достанется этому... Соломону-премудрому с его жидовскими деньгами...

– Могилевскому-то?..

– Ну, да, Могилевскому... А что такого?.. чего ты смеешься?..

Кириенко и вправду расхохотался:

– Да ведь этот Могилевский у меня весною еще векселя... просроченные... в общем, в доле он у меня, Могилевский твой... ты уж прости меня, бога ради, дорогой мой Леонтий Николаевич, что так вышло, но в доле... – Кириенко продолжал смеяться, – именно с этими своими, как ты изящно выразился, жидовскими деньгами, ибо какие еще деньги могут быть у Могилевского?... Таки никаких других еще денег не может быть у нашего Могилевского... у нашего золотого Соломончика Могилевского... – и Кириенко вновь захохотал безудержно, по-детски совсем, так, что мгновение спустя и сам Леонтий Николаевич принялся вторить ему отрывистым, приглушенным смешком, каким обычно смеются склонные к полноте мужчины.

– Я... то есть... ты... ну, нет, ну ты, правда, ловок... ловок, да... я просто... просто восхищаюсь тобой, Петруша... нет, каково, а?... самого Могилевского запряг!.. нет, ты ей-богу – корсар... корсар, корсар – и не вздумай спорить со мною даже... Могилевского-то, а?... – Мартьянов слегка закашлялся, – шутка ли, Соломон Могилевский, ему тут в рот все глядят, а ты... – он вдруг внезапно смолк, и лишь по инерции продолжал качать головой из стороны в сторону. Утомившийся собственным смехом Кириенко замолчал также – на время повисла пауза, легкая и естественная при смене столь бурного выражения чувств. Затем, отдышавшись, Мартьянов хлопнул себя ладонью в грудь:

– Ну, ладно... – он поднял глаза, – А что, позволь спросить, ты станешь делать сегодня?... куда, так сказать, направишь свои стопы?... К Межуеву, небось?..

– К нему, к нему... а то, как же, к нему, родимому... к Алексею Михайловичу, добрейшему и всемогущему...

– И когда ж?..

– Да вот прямо сейчас от тебя и поеду...

– А примет ли?..



– Примет... я прежде телеграфировал... да и потом, после прошлого раза, я полагаю, он меня хоть бы и среди ночи, а примет...

– Добро... а потом?..

– Потом?.. потом не знаю еще... заеду к Сеницыну... может, в Крестьянский банк... пожалуй, все на сегодня... а что, ты имеешь планы...

– ...ну, да, поедem куда-нибудь ужинать... нечасто поди видимся... да, вот, кстати, новый ресторан у нас открылся прошлым месяцем – «Во чреве кита» называется... идиотское название, правда ведь?.. на Госпитальной, против дома Кисельникова... ты его увидишь, как к губернскому правлению пойдешь... это в трех шагах оттуда... там теперь повар из «Страсбурга», как бишь его – запомнил имя, вот грех-то, ну да неважно – хозяин, по слухам, его двойным жалованием оттуда переманил... наотмашь, так сказать, с потрохами... как котенка... и ведь доброе дело, собака, сделал, по общему мнению – кухня теперь тому «Страсбургу» не чета... все и забыли нынче про «Страсбург»... – говоря это, Леонтий Николаевич заметно воодушевился и даже непроизвольно хлопнул в ладоши, – ну, так что ж?.. одобряешь сей проект, добрейший мой Петруша, или все же обидишь старого своего товарища?..

В ответ Кириенко лишь вновь рассмеялся полным обертонem, округлым, насыщенным ворохом разнообразных значений и оттенков смехом, каким на Руси умеют смеяться лишь чиновники с десятилетней выслугой, пожилые доктора и деловые люди из тех, что имеют интерес к железнодорожным концессиям.

– Да ты, Леонтий, и мертвого уломаешь... словно бы твой ресторан собственный, честное слово...

О, немощь пера, непреодолимая спутница наша! Есть ли среди испытующих себя кириллицей кто-либо, кому неведома ты, проклятая? Есть ли подвизающийся от литературы, кто не страшился бы ни разу лукавой белизны листа, не вглядывался бы в него с пристальностью, достойной помешанного, тщась разглядеть нечто, чего нет еще вовсе, но чему, несомненно, быть надлежит. Что там? Смогу ли? И почему

мне все это? И кто уполномочил меня, каковы основания для того и правила? Но не ответит лист, покуда не покроется дрожью чернильных букв, цепляющихся друг за друга, словно незадачливые пассажиры тонущего корабля, – и, проступив в тех буквах, ответ его будет короток и странен, странен в своей краткости и краток в странности своей, будто клич какой или вопль. Одно лишь слово станет ответом, и слово то будет – публика.

Публика... Лишь ты, наивная, всегда простишь по-свойски бедолагу-литератора. Всегда согреешь его пониманием своим, утетишь в неверии и, разомкнув его коснеющие уста, кивнешь в нежданном и незаслуженном согласии, всегда. И умиленными слезами встретит тебя литератор, ибо знает, что в заложницах у тебя его репутация, и лишь постоянство твое сберегает ее от неизбежного краха. Чуть более переменчивости – и грош ей цена. Чуть более любопытства и памяти. Чуть более любознательности и стремления подвергнуть что-либо основательному сомнению – все равно что, ей-богу, хотя бы и эти вот мои слова, в самом деле! Стоит вообразить лишь такое – и вот уже мурашки бегут по коже неостановимо. «Право, почему бы Вам, сударь, – скажет в этом случае иной читатель, – не изложить здесь нам все, относящееся к материи задуманного повествования. Вообще – все. Все по порядку: начиная с субстанций малых, пусть даже до некоторой степени и случайных. Взять хотя бы меню того чудесного заведения, что называлось, кстати сказать, «В китовом чреве»», а вовсе не «Во чреве кита», если уж возникла нужда быть точными. Второй вариант, впрочем, на наш взгляд не в пример благозвучнее, однако с самого начала был, так сказать, «забаллотирован» по случаю епархиальным архиереем владыкой Кириллом вследствие причин, навеки скрытых от постороннего разума ворохом цитат из пророка Ионы. Ну, да не спорить же с ним, в самом деле, по такому еще пустяку?

Так вот, взять хотя бы меню, то самое меню, исполненное изящных виньеток и разноцветных росчерков, – по общему мнению, не меню, а сущее художество, да и только. У художества этого, кстати, и автор имеется, как подобает, – наш, губернский виртуоз, Аристарх Климов, отчисленный некогда из Академии за неумеренное пьянство... весьма старательный молодой человек... талант... Ну, что там еще? Ах, да – перечень блюд, собственно. Так сказать, означенного заведения кровь

и сущность... Едва ли, впрочем, мы сумеем найти и здесь что-либо особенное, способное удивить нас или растрогать – привычная русская еда, добротная и обильная. Губернская кухня, говоря проще. Знакомая всякому смесь французского с нижегородским, при некотором, впрочем, преобладании против обычного закусок грибных и рыбных. Стоит ли теперь нам входить в детальное их рассмотрение, или, скажем, исследовать виную карту, или, может, вместо этого углубиться в чтение рекомендательных писем, привезенных некогда из Москвы поваром Антоном Крынниковым для вручения хозяину «Страсбурга» Христофору Христофоровичу Экзархопуло? Едва ли, право... Любопытствующий вполне может исследовать все самолично – пять против одного, что взыскуемая *terra incognita* расположена от него не далее, как на соседней улице, и путешествие сие не причинит большого вреда ни его кошельку, ни желудку. Ручаюсь. «Ан, нет, – не унимается давешний читатель, – Бог с ней, с кухней, что нам – кухня, в самом-то деле. Вы нам, сударь, не про кухню – Вы про людей нам расскажите все как есть, всю их, так сказать, подноготную поведайте – что-де они да как... о чем, к примеру, беседовали герои Ваши промежду собой, в том ресторане ужиная, что за предметов при том касались, каковых умозаключений достигли?» И, услышав подобное, в одночасье упадет духом заносчивый литератор, ибо где ж ему обрести, в каком невиданном прежде словаре сыскать теперь ему, бедолаге, тот особенный, витиеватый глагол, каким сподручно было бы передать нашу губернскую застольную беседу? Милую, дружескую застольную беседу... Лишь разводит руками удрученный литератор, годами перо оттачивавший о коллизии повседневности. Бессильно нынче его ремесло. Да и есть ли, честно сказать, во всей русской речи этот витиеватый глагол, уже придуман он по случаю кем-либо или, напротив, лишь ждет своего черед в непостижимых чертогах, в робких неслышимых сферах. Ждет, когда какой-нибудь новый Гоголь, зачумлённый и одинокий, истомившись мукой бессловия, радостно вызовет его из плена небытия и с хохотом облегчения бросит в мир?

Но довольно – оставим сейчас подобные сетования, дабы, безжалостным читательским любопытством понукаемы, успели мы вернуться в упомянутое китовое чрево прежде, чем герои наши его

покинут. Поспешим же. Итак, вот они: сидят развалившись, со стола уж убрано все – лишь толстушки-ликерные рюмочки полупустые еще красуются, словно бы в сыгранной кем-то партии две последние шашечки: ничья, дескать.

Леонтий Николаевич – тот даже устал несколько, одышка его проявилась теперь вполне явственно – пытаюсь унять ее, он то и дело задерживает в себе воздух, выпуская его затем с силой через плотно сжатые губы:

– ... нет, ты, Петруша, не говори так... он, конечно, крыса амбарная, это ты прав, бесспорно, крыса и фетюк... фетюк, да... я же не спорю, что фетюк, право... просто ты, Петруша, не берешь в расчет того... того, что... иначе говоря, ты просто не знаешь, что за человек наш Арсений Игнатьич... право, ты не знаешь его, Петруша, не знаешь вовсе, и не спорь даже... – Мартьянов походя подавил икотный позыв, – ты просто не видел, Петруша, многого, потому и судишь его поспешно... на похоронах Чернобаева, к примеру... знаешь, какую он речь сказал?... всякий, кто там был, ее, что называется, до конца дней помнить будет... то-то... или когда подписку объявили в пользу вдовы... ты этого не знаешь всего, вот и решил, что Колыванов фетюк архивный и только... сознайся, Петруша, а?..

Он с шумом отодвигается от стола. Кириенко в ответ лишь качает головой:

– Да я, Леонтий, в сущности ничего... ничего такого и не утверждаю, по большей части... я лишь говорю как есть: была договоренность, и он ее нарушил... а потом мялся и юлил, как мальчик... ты ведь не находишь это правильным, Леонтий?... он ведь уже не мальчик, не правда ли?... или все-таки мальчик?... если мальчик – тогда, конечно же, дело иное... тогда я, знаешь ли, куплю ему в магазине Локвуда заводной паровозик, а договариваться буду уже с Пахомовым... оно и лучше будет, по всей видимости, – Пахомов, тот уж точно не мальчик, согласись...

Мартьянов слегка морщит носик, словно девица:

– Экий ты, Петруша... железный... право слово – железный, вот именно... заводной паровозик, ты и есть... – он придвигается к столу,

стараясь приблизиться к собеседнику, кладет на скатерть руку, – А ведь я знаю, Петруша... знаю, дело в чем... ей-богу, знаю...

Он прищуривается заговорщически.

– Что ты знаешь, Леонтий?

– Знаю... знаю все...

– Что?.. что именно ты знаешь?.. о чем?..

– Обо всем... о том, почему ты такой весь, железный... причину этого, так сказать... открыть тебе?.. желаешь или нет?

Он подымает вверх указательный палец.

– Но ты не должен на меня обижаться тогда, Петруша... ни при каких обстоятельствах, право... я ведь старый твой товарищ, и, кроме меня, никто тебе не скажет... этого... ей-богу, душа моя, никто... в целом свете... никто...

Поднятым пальцем Мартьянов поводит из стороны в сторону, затем соединяет его с указательным левой руки в некоторое подобие плотика.

– Все дело, Петруша мой милый, в том, что ты... что ты живешь словно бы фонарный столб... без вспомогательного женского начала...

Петр Ильич, за миг до того сидевший в некотором напряжении, теперь разразился водопадиком несдерживаемого хохота:

– Фонарный... столб... как ты говоришь?.. без вспомогательного женского... эх ты завернул, Леонтий... прямо, завернул, так завернул!..

– Ну а что ж, Петруша... ведь правда... ну, сам посуди: треть, почитай, ночей в поездах проводишь... разве дело это?.. ну, скажи, что я не прав, в самом деле?..

– Да с чего ты взял, Леонтий... почему ты решил... что я... что у меня...  
– он поперхнулся, – что у меня нету...

– ...а что, не так разве?.. – Мартьянов еще более оживился, – может, я не знаю новых твоих обстоятельств каких-нибудь?.. ты не скрывай от командира... а, Петруша?.. как ты там в своей Подгорновке

перебиваешься?.. готов пари держать, – ты там один, как... как гусь, да... как гусь, вот именно!..

Петр Ильич вновь рассмеялся:

– Сдалось тебе, Леонтий, мое Подгорное... да я бываю там, если хочешь знать, в месяц когда – неделю, когда – две... редко – больше... на кой черт мне там кого-то заводить, сам посуди...

– ...ну и что из того... ничего не меняет... вовсе даже ничего... наоборот... ты погляди, ты вот сказал... да что там, ты сам себе противоречишь, право...

– ...чем же это, хотел бы я знать, по твоему мнению...

– ...да вот хотя бы тем, что ты, Петруша... ты...

– ...фонарный столб?..

– ...да нет же... что ты к слову цепляешь... вот, манеру приобрел нехорошую – к слову цеплять!.. я лишь сказать хочу, что ты... что ты все же, как ни говори, – мужчина во цвете лет, что называется... здоров, красив, а вынужден противоречить природной тяге... и оттого ум твой мутнеет, а нрав огрубляется...

– ...да ты, Леонтий, все равно – доктор... ты доктор теперь, да?.. или не доктор?..

– ...нет, вправду... я удивляюсь даже, что ты пока не ощущаешь вреда от этого для своих дел... в первую голову, для тех из них, которые требуют особой тонкости, обходительности... признайся... ведь тяжело, небось, обсуждать с тем же Пахомовым даже... когда свербит... трудно ведь направить мысли в отведенное русло, признайся?.. признайся по-дружески... правда ведь?.. трудно...

– Да ничуть не трудно... с чего ты взял, Леонтий, что у меня свербит?.. это у Пахомова твоего свербит... по бородавке на носу видно – ох как свербит... свербит, а он, Пахомов, преодолагает... аки подвижник...

– ...однако он счастливо женат...

– ...и что ж такого?.. женат, вот и томится со своей благоверной... мне-то, гляди, теперь не в пример легче: почитай, в каждом городе, коли

захочу только, – вот тебе и жена на одну ночь по весьма сходной цене... и слова никто не скажет ни в глаза, ни за глаза... куда там Пахомову...

Леонтий Николаевич, не найдя что возразить, лишь хмыкнул понимающе.

– Правда, мой друг Леонтий, всякое положение имеет свои преимущества, не так ли? – Он усмехнулся, почти беззвучно.

– Да, Петруша, конечно же... – Мартьянов словно бы задумался о чем-то, затем вдруг встрепенулся, будто озаренный какой-то идеей, – так ведь, коли ты хочешь, мы можем и сейчас прямо... а?.. то есть, я могу тебя проводить, укажу место доброе, а сам домой вернусь, конечно же... но ты можешь там развлечься вполне... тебя ведь ничто не стесняет... отдохнешь... заодно оценишь наше гостеприимство со всех уже сторон, так сказать... право, не хуже, чем в Сумах... ты помнишь Сумы, а, Петруша?.. как мы тогда с капитаном Чесноковым... и с этим, которого из артиллерии перевели... утром на коня влезть не мог... помнишь?..

– ...это тот, который... кварташку потом... оскорбил действием... да?..

– Ну, да... кто ж еще... один он такой отчаянный у нас был... помнишь, отношение пришло потом в адрес Брусенцова... полковой адъютант еще потерял его тогда, как на грех... после в интендантских бумагах нашел, а уже копию прислали... помнишь?..

– Кто ж забудет такое, Леонтий... и усы твои тогдашние, и все... скорее мать родную забудешь, чем это... – И, расхохотавшись, Петр Ильич не слишком ловко хлопнул Леонтия Николаевича по плечу, перегнувшись для того через стол и уронив попутно рюмочку...

Заведение мадам Бондаренко, куда друзья наши направились напрямиком из «Китового Чрева», говоря начистоту, едва ли уж так сильно выделялось чем-либо из ряда других подобных ему заведений, в удивительном для непосвященного изобилии испокон веку населявших обе стороны – как четную, так и нечетную, – Старо-Полотняного проезда от складов мануфактуры Брикетова и затем почти до самого Зачатьевского пожарного депо... Просто добрейший Леонтий

Николаевич имел о заведении мадам Бондаренко некоторые сведения, вот, собственно, и все. Некоторые, вполне благоприятные, впрочем, сведения, почерпнутые, само собой, исключительно с чужих слов, да и только. К тому же, ведомо ему было того заведения собственное название, и название это было – «Герат», хотя ничего восточного у мадам Бондаренко – Бог свидетель! – не было и в помине. Восточного она на дух не выносила, наша мадам Бондаренко, татар особенно, даже дворников, и армяшек тоже еще... Ничего восточного – разве лишь выцветшая широкая вывеска над входом (само собой – произведение все того же Аристарха Климова, изваянное его дрожащей рукой в суровую минуту похмельного безденежья). Посеревшая от немилосердных дождей чуть криво прибитая доска, в которой пытливый наш взгляд, коли прищурится, нет-нет, да и разглядит среди знакомых уже по иным творениям того же мастера виньеточек да листочков нечто, долженствующее, по всей видимости, изображать кальян, однако более всего напоминающее клизму, которой пользуется больных фельдшер Пустовойт в Успенской больнице. Впрочем, не станем мы отрицать и того, что у каждого почти заведения в Старо-Полотняном проезде была, если можно так выразиться, своя собственная, известная, кстати сказать, завсегдатаям в мельчайших подробностях, слава, а также устойчивый круг верных клиентов, сложившийся, как принято говорить, преysкуранту – в угоду, а доброму хозяину – в утешение... Что же до «Герата», то, к чести данного заведения, скажем, что рабочие с близлежащих мануфактур обходили его стороной – не по карману было, видать. Напротив, желанным и, главное, частым гостем здесь была публика чистая, приезжавшая в Старо-Полотняный проезд откуда-нибудь с Заречья или и вовсе с Рождественских улиц... Приезжавшая, само собой, на лихачах, а то нередко и в закрытых экипажах: у самого крыльца останавливался тогда экипаж, отворялась дверца и кто-то соскальзывал на землю, тут же исчезая внутри, лишь на мгновение подставляя случайному взору фуражку с кокардой, чей-нибудь умудренный жизнью седой бакенбард или, напротив, распаленное предвкушением безусое еще лицо гимназиста седьмого класса...

Итак, герои наши, добросовестно отужинав, взгромоздились в извозничью пролетку, после чего Леонтий Николаевич шепнул вознице едва ли не на ухо заветное: «В "Герат", братец, давай-ка поскорее» и



затем откинулся на обитую кожей спинку – втайне уповая всей душой, что извозчик не станет переспрашивать. Тот и в самом деле лишь кивнул понимающе, распрямился и с криком «н-но, подлая» картинно вытянул хлыстом свою каурую кобылку – «в-р-раз домчим... не заскучаете...»

Доехали и вправду скоро – причем, к вящему удовольствию Леонтия Николаевича, не встретив по пути никого из знакомых ему лиц. Решивший про себя, что проводит друга лишь до двери, он все же преодолел извинительную в его положении видного губернского чиновника и многодетного отца семейства робость, вошел и, прежде чем оставить Петра Ильича наедине, так сказать, с плотскими уладами, провел в заведении мадам Бондаренко с четверть часа, по меньшей мере, успев при этом перекинуться словом с хозяйкой, а также угостить сомнительного цвета ликером одну из девушек, которую, впрочем, даже толком и не рассмотрел. Обо всем этом он, само собой, тем же вечером и в изрядных подробностях доложил супруге, еще долго, однако, вспоминая потом «весьма легкомысленное в его годы приключение» со странной смесью куража и какой-то легкой невнятной грусти так, словно бы и вовсе не был он никогда молодым, богатым и беззаботным офицером расквартированного навеки в Малороссии пехотного полка...

Иные, впрочем, чувства испытывал, оказавшись в «Герате», Кириенко. Главенствующим среди них, по всей видимости, следует считать досаду – предательски просочившуюся откуда-то негромкую, но, тем не менее, вполне отчетливую досаду, пришедшую на смену выветрившемуся вместе с хмельными парами ощущению легкости бытия, самотечения обстоятельств, приятных и безопасных. Взамен почему-то возникло дурацкое чувство подчиненности, подавленности перед чужой волей, словно бы он, Петр Ильич Кириенко, вдруг оказался незванным гостем на каком-то неведомом празднике незнакомых ему людей, – словно бы кто-то грязный, настырный тянул его и тянул куда-то за рукав...

Ничего не хотелось. Едва Мартьянов ушел, Петр Ильич заскучал совсем. Не чураясь, вообще говоря, любви внаем, он, однако, предпочитал избегать мест, где ее предлагают оптом: о причинах этого он, конечно же, никогда не задумывался, однако, по всей видимости,

его чувствительную в своей основе душу смущала, как таковая, сама ситуация выбора непосредственно перед лицом объекта этого выбора – пожизненный демон слишком многих, увы, деятельных и волевых мужчин... Сидя на диване, обитом дешевым красно-коричневым плюшем, в окружении обыкновенного для подобных мест триумvirата из вертлявой Жу-Жу, приторно-томной Эмили и пышногрудой чернявой Розы, которая, впрочем, вполне может оказаться другой раз Сарой или Ребеккой, он уже подумывал о том, чтобы покинуть сей нехитрый эдем, и лишь нежелание расстраивать добродушного Мартьянова досрочным появлением в его доме заставляло Петра Ильича медлить. Все же, продолжая лелеять в голове мысль о прибыльности таковой ретирады для душевного успокоения, он произносил машинально какие-то слова, сажал кого-то к себе на колени, выпивал рюмку водки, целовался и прочая – и так в продолжение едва ли не получаса, вплоть до кольнувшего вдруг неподконтрольным спазмом половинчатого узнавания, мига, когда, нечаянно подняв голову и скользнув рассеянным взглядом по выбритой щеке какого-то крепенького довольного господинчика, только что спустившегося по лестнице и направляющегося, как видно, к выходу, Петр Ильич уперся затем глазами в удивительно миловидное личико шедшей вслед за ним девушки на вид лет двадцати трех – от силы двадцати пяти; правильное открытое личико, ничуть не слащавое и не изгаженное еще обыкновенной для обитательниц домов веселья одутловатой печатью тупой праздности и скуки. Должно быть, она сейчас обслужила наверху этого вот выбритого господинчика и теперь спустилась в залу к очередным «гостям». Должно быть, сейчас вот она обратит на него, Петра Ильича Кириенко, внимание – подойдет, заведет сопровождаемый развязными жестами не значащий ничего разговор – Петр Ильич невольно поежился, затем попытался представить себе ее в меру низкий, сочный, богатый обертонами голос – и ровно в этот миг давешний спазм узнавания кольнул его вновь, вторично, теперь уже с окончательной и неприятной однозначностью открыв слегка приглушенному винными парами сознанию все как есть, а именно – череду имен и обстоятельств, о которых Кириенко, казалось, вполне заслуженно забыл много лет назад и которые почему-то всплыли теперь новым, беззастенчивым и диковинным оборотом...

...Кто-то взял гитару, щипнул ее несмелыми слащавыми аккордами, кто-то засмеялся непонятно чему – все текло по-прежнему, в убивающей время тягучей патоке натужного уюта, и в то же самое время все как-то разом переменилось до известной степени, словно бы погода за окном в осенний день или волнение на море – час назад так, а теперь вот эдак. И словно бы в согласии с таковым воображаемым волнением ощутил Кириенко какое-то смятение – нет, не смятение даже, а так, неустойчивость. Неустойчивость колеблющихся душевных чувств – суетливую, раздражающую, какая всегда бывает в преддверии неизбежной и неясной опасности.

– А это, Петр Ильич, всеобщая наша любимица – несравненная Камелия... Камелия, подойди к нам, познакомься: Петр Ильич, наш гость из М-ской губернии...

## 2.

Странная, однако же, вещь – жизнь наша! Непреодолимо странная – странная от первых беззаботных дней ее начала до самой гробовой доски, как говорится... Сплошной, по сути, чудной случай, опровергающий ежечасно наши упования и предположения едва ли не напрочь и тут же в следующее мгновение порождающий в нас новые, ничуть не более основательные... Как изложить в причудливом хитросплетении лиц, встреч, событий и прочих наполняющих жизнь крупиц – ее потайную механику, ее камень, ее таинственный знаменатель, незаметно сводящий вавилонский хаос наших личных обстоятельств в осмысленную совокупность, влекущую, в дальнем конце концов, неспешную историю народов и царств, каковая, по мнению мужей ученых и заслуженных, имеет уже несомненный предмет и метод? С чем соотнести ее, чертову механику эту? Чему уподобляема она, коли и в самом деле возникнет нужда чему-либо ее уподобить? Богатому фламандскому натюрморту, сочащемуся лимонным соком? – Нет... Портрету рембрандтовой кисти, уводящему созерцающего во глубину исполненного таинственным смыслом полумрака? – Тоже нет. Чему же тогда? – Скорее уж, коли на то пошло, изделию восточному, впитавшему в свою глиняную плоть тепло и мудрость неведомых нам рук иной, более древней, чем мы, расы. Ведь что пленяет нас при первом, поверхностном взгляде на таковое изделие – конечно же, необычайность его, не правда ли? Ан, присмотревшись затем, сощурив приблизившийся глаз и задумавшись, начинаем мы понимать, чему обязаны этой необычайностью. Мы видим орнамент – опутывающий все орнамент, – череду неизменно повторяющихся, однако простых, в сущности своей, деталей – какие-то черточки, завиточки, веточки или цветочки – бог знает, что там еще будет, в этом орнаменте, неважно это. Бессмысленны и случайны их начертания, непритязателен их вид, едва ли понятно, что связывает их между собой – до той поры, пока не прояснено для нас главное: того орнамента шаг и период. И вмиг все встанет на место – и вновь изумлены мы, но изумлены иначе: едва ли не радостно нам теперь, ибо внимаем мы в полной мере воплощению дарования, ниспосланного творцом в чьи-то неведомые нам руки...

Право, не об этих ли философических субстанциях думал Петр Ильич Кириенко, подымаясь вслед за милой Камелией по чуть продавленным, отдающим при каждом шаге легким сосновым скрипом ступенькам на второй этаж «Герата» – туда, где в означенном заведении располагались комнаты? Не иначе как старался он в ту минуту постичь ход орнамента судьбы своей, простегивающего властной дугой последнее прожитое им, Петром Ильичом, десятилетие, – орнамента, пославшего ему теперь в этом донельзя странном месте на задворках чужого совсем города встречу с женщиной, незначащим прикосновением прошедшей когда-то через его жизнь, женщиной, о которой он не только не думал, но даже и не вспоминал все эти годы.

Несомненно, это была Анфиска. Повзрослевшая теперь на десять лет, та самая нескладная деревенская девочка с испуганным личиком. Жившая по непонятной прихоти Елизаветы Васильевны Кириенко при подгорненском доме в качестве единственной служанки и выполнявшая изо дня в день работу, которой бы хватило вполне для двух здоровых баб. Собственно, с найма на подходящих условиях этих двух новых служанок и начали молодые Кириенки самостоятельную жизнь в Подгорном – тринадцатилетнюю Анфиску по такому случаю решено было «вернуть родственному попечению». Супруги постановили это единогласно – дабы в собственном своем доме покончить навсегда с последним «пережитком средневекового крепостничества». Петр Ильич рассчитал девочку по конец текущего месяца, добавил сверх того еще тридцать рублей ассигнациями и, сказав какие-то слова, на прощанье неловко поцеловал в щеку. Кажется, пару лет спустя он случайно справился у кого-то о ее судьбе и, услышав, что Анфиска вроде как вышла замуж, вновь забыл о ней – как думалось, навсегда. И вот теперь эта самая Анфиска, выросшая и набравшая стать, назвавшись каким-то вымышленным, нелепым именем, подымается вместе с ним по темной лестнице заштатного борделя, чтобы сдать ему, Петру Ильичу Кириенко, свою любовь в аренду на два часа.

«Она ведь это, точно она, Анфиска, – с каждой ступенькой лестницы Петр Ильич чувствовал себя все более и более обескураженным, – Даже и сомнений никаких нет вовсе – эти глаза, крылья носа, эти

уголки рта чуть вверх... черты лица ведь не меняются с возрастом...» Он попробовал представить себе, как годы преобразуют внешность, но не смог. «Как же она попала сюда, в конце концов... и почему не показала, что знала меня прежде... хотя как бы она показала – это ведь невозможно при подобных обстоятельствах... но ведь она признала меня, не могла не признать – едва ли я так сильно переменялся за эти годы... уж не сильнее, чем она, в любом случае... я ведь мужчина и старше... и потом... ч-черт, а коли и вправду не признала?.. или вообще не она?.. что, если бы не она?.. ну, да, в самом деле – какая, ей-богу, разница: какая мне должна быть разница, я что... я не для этого сюда же... и вообще... почему я думаю об этом, сокрушаюсь даже, как будто... просто интересно или что?» Петр Ильич почувствовал вдруг прилив какой-то мрачной и вместе с тем упоительной решимости – словно бы он вот-вот должен был прыгнуть куда-то или скатиться с горы. «Ну и ладно... так любопытнее даже... чем не развлечение, в конце концов... после дня с этими губернскими удавами... вполне, можно сказать, заслуженное развлечение, да...» Обуреваемый сонмом подобных размышлений, он будто бы в тумане двигался вслед за девушкой, покорно переставляя ноги, – так в полумраке и не произнося ни слова, они поднялись вместе на второй этаж, свернули направо в коридор и, пройдя его наполовину, остановились возле какой-то двери.

– А вот и моя комнатка... пожалуйста...

Скрипнула дверь, распахнулась. Анфиса шагнула вперед и, взяв Петра Ильича за руку, увлекла его следом.

– Вот... не правда ли, здесь мило?.. мадам такая заботливая – требует, чтобы девушки себя содержали в лучших фасонах...

Шаг в натопленное, ленивое царство – душевные, дешевые, задернутые наглухо гардины, умывальник, кровать. На кровати рядом с подушкой – потрепанная куколка.

– Не желаете ли еще вина?.. Коли хотите – я спущусь в буфет...

Свет лампы, поставленной на венский стул, падал, чуть дрожа. Поправив фитиль, Анфиса зажгла вторую, прикрепленную к стене возле умывальника, – тени, до того момента легкие и как бы

регулярные, теперь сгущаясь, смешивались между собой, образуя в пересечениях причудливые, похожие на паруса, синие пятна. Петр Ильич упал на единственный оставшийся свободным стул и, расставив ноги, тяжело откинулся на спинку. Какими-то детски-непонимающими глазами он глядел, как девушка споласкивает над латунным тазом лицо, вытирает его двумя быстрыми прикосновениями вышитого полотенца, затем вновь оборачивается к нему, делает шаг вперед и, распустив вдруг волосы мгновенным, едва уловимым движением руки, улыбается чуть-смущенно и в то же время ободряюще:

— Хотите, чтобы я сама... или вы...

Он кивает как-то невнятно, он видит, как Анфиска расстегивает что-то, затем видит ее левую кисть, в угловатом свете керосинки — словно бы вырезанную из дерева, затем — по-детски узкое плечико, чуть выпирающее покатою ступенькой ключицы, затем уже — правую грудь, беззащитной шишечкой соска словно бы перекликающуюся с чувственным обводом губ девушки, — и уже в следующую минуту Петр Ильич Кириенко апрельским голодным шмелем впивается в эти губы...

...И всегда загадка — наигранное ли это, фальшивое, извлеченное из ветхого арсенала затасканных принадлежностей позорной среди людей профессии — или напротив, донельзя нечаянное, всякий раз с чарующей материнской щедростью даруемое нам через женщину утешительницей-природой, спасительно-нелюбопытной до нравственных оснований поступков наших... Эти успокаивающие, тонкие, почти бесплотные прикосновения сухих губ, эти полузакрытые глаза, этот шелком скользящий, извивчиво-каштановый поток волос, в котором пальцы тонут и от запаха которого вновь и вновь перехватывает дыхание... как бы ленивые, утомленные движения — лишь заключающий, робкий отблеск недавних содроганий в жару утоления страсти — словно бы эхом каким-то или сладостным отголоском... Это похоже на смерть или на новое рождение — когда слова, умирая, обращаются вспять, распадаясь сперва на слоги, затем на звуки и после уже рассыпаясь в вихорх воспаленного дыхания, исчезающего в молчании небытия. Молчание радости. Радость

молчания — мгновения, минуты, вечность... Медленно, будто исподволь звуки являются затем вновь — неохотно и робко складываясь в слова, словно бы в устах ребенка. И не подняться самим из этой пронизанной негой топи. И нужно что-то внешнее — какой-нибудь шорох или стук, или чтобы начала, к примеру, вдруг нещадно коптить керосиновая лампа...

И в самом деле, оставленная на стуле лампа, вдруг изрядно убавив свет, пустила вверх тонкую карусель копоти — заметив это, Анфиса протянула руку, чтобы поправить фитиль, однако, не достав до зубчатого колесика, вынуждена была спустить с кровати ноги и сесть. Петр Ильич успел заметить на правой лопатке девушки, почти у самого ее плеча, две небольших размеров родинки — окруженные ожерельем редких, рыжеватых в проходящем свете волосков, они как-то особенно трогательно оттеняли гладкую белизну ее кожи, не прозрачную восковую и не мраморную, но какую-то живую, подвижную белизну, белизну как бы осеннего спелого яблока, легко и безошибочно распознаваемую даже при недостатке освещения, — непреодолимо почему-то хотелось дотронуться до этих родинок легонько, подушечками пальцев, впитывая короткое дыхание поверхности тела, провести, едва касаясь ладонью, от них вправо, вниз, по покатой впадинке позвоночного столба...

— Вы уж не выдавайте меня, Петр Ильич, родненький... не губите... а то мадам лютовать станет... коли услышит, что вы мое взаправдашнее имя знаете, скажет, мол, для заведения ущерб... она добрая к девушкам, вы не подумайте, но порядка придерживается завсегда...

Кириенко нащупал за спиной подушку и, облокотившись на нее и подобрав по-турецки ноги, сел:

— Ведь ты же, Анфиса... — мысли его брели путано и тягуче, цепляясь и возвращаясь то и дело назад — почему ж ты деревню... оставила...

Девушка сидела теперь против Петра Ильича на кровати, обхватив руками колени, — Кириенко увидел, как на миг едва заметно будто бы дрогнула ее правая щека, прежде чем на лице воцарилась та вульгарная, знакомая едва ли не каждому российскому обывателю,



непроницаемо-виноватая улыбка, которой наши тридцатипятилетние мещанки награждают обычно чей-нибудь досужий интерес к их семейным обстоятельствам.

— Так ведь как же, барин... никто не держал, поди... вот и стронулась с места, можно сказать...

— Как так — никто?.. А родня? А муж?.. Ты ведь замуж была выдана, я слышал...

— То набрехали вам, барин... уж не знаю, кто — а набрехали, видать: сроду замуж не хаживала... уж поверьте — а не хаживала...

Она чуть визгливо хихикнула.

— Пусть так... но ведь родня-то у тебя есть... ведь не станешь же ты утверждать... — Кириенко сделал паузу, — не будешь же ты говорить, что это они тебя...

Он с трудом подбирал слова почему-то. Анфиса больше не глядела на него, наклонив голову, она рассматривала что-то возле пальчиков на своих ногах.

— Да полно вам, барин... уж уехала так уехала... теперь, стало быть, не ворочусь... да и не больно-то охота, правду говоря... мы здесь заботами мадам как сыр в масле катаемся... что ни месяц, то обновы, а то и чаще даже... а когда, бывает, гости что из вещей дарят, мы обратно себе можем брать — мадам завсегда не против тоже... она добрая у нас, заместо матери родной...

Петр Ильич невольно поморщился.

— Ведь ты нарочно говорить мне не хочешь, пожалуй... правду...

Какая-то беспокойная муха словно бы жалила, не переставая, его мозг.

— Зачем вам все это, барин?.. — Она по-прежнему не подымала головы — спрашиваете, будто квартальный, все равно... или я виновата перед вами чем-нибудь?..

Кириенко вновь поморщился; затем, подавшись вперед и протянув руку, осторожно приподнял завесу падающих на глаза Анфисиных волос, откинул их на затылок, открыв лоб девушки, высокий и горячий...

– Господь с тобой, Анфиса... чем ты можешь быть виновата?... просто мне надо все это знать, слышишь, надо и все...

«...батюшка мой еще прежде летом скончались... с поля пришли намаявшись, водички холодной хлебнули в жару, об тот же день и слегли... когда фершала зазвали, уже поздно было... только руками развел: дескать, супротив скоротечной горячки наука пока бессильна пребывает... уповайте на Господа, мол... ну, мы уповали, уповали, а только к утру батюшка преставились...»

«братика моего меньшого тогда тетка Фекла к себе забрала в Нижне-Константиново... а я так и осталась при матушке вашей, Елизавете Васильевне, светлая ей память...» – «Постой же, а твоя собственная мать?...» – «мамка-то?... так ведь она еще до того померла, когда Андрюшку рожала прежде срока... жалко мамку так было, не сказать – прямо, смерть как жалко... когда батюшку-то похоронили – я и не плакала вовсе: все слезы – они на мамку изошли, как видно... ей-богу...»

«...и как же ты?...» – «...известно как – дело сиротское... хорошо хоть барыня службу давала...» «...так ведь, обижала ж она тебя...» – «...да Господь с вами, Петр Ильич, разве ж то обиды были... то ученье, а не обиды – известно дело, коли девчонка молодая да без отца, без матери, то учить ее надобно... хорошая служба у барыни была, жаловаться грех... так бы и оставалась при доме, коли можно было... ну, да, видать, иначе Господь положил... что ж делать...»

«...когда вы расчет мне дали, я сперва тож в Нижне-Константиново пошла, думала, тетка возьмет к себе ... да только не вышло ничего – не хотелось ей, видать, невзнарок бесприданницу на хлеба свои вешать... к тому ж, в Подгорном говорили, что неспроста меня со двора барского отписали...» – «Как так, неспроста?...» – «...а так, мол, что меня новая барыня прогнала за то, что с супругом еёным спуталась... с вами, Петр Ильич, то есть... брехали, что порченная я, дескать, – кто ж в дом к себе такую примет?...»

«Куда ж ты прибилась тогда?... ведь могла же, глупенькая, запросто к нам опять вернуться – и я бы, и Аня...» – «...да уж не посмела, барин...

коли услана прочь, так услана...» — «...и что ж ты делать стала?...» — «...известно, что... в деревне с голоду помереть не дадут... Савелий-Колупай меня приютил тогда... прозвание такое у него — Колупай, дальней родней мне приходится... он бобылем жил... самый дурной мужик во всем Подгорном... грязный, злой... те деньги, что вы мне дали, он сразу и пропил — поехал в уезд на ярманку, будто бы лошадь покупать, да через три дни вернулся... без денег и без лошади...» — «...как же ты жила у него?...» — «...да плохо жила, чего уж лукавить... голодно и скушно жила... Савелий-то хозяйство держать не большой был мастак — знал лишь как меня понукать, ну, да что я могу одна-то?... без мужских-то рук почти?... так и жили — через пень-колоду... бывало, если вина напьется — то хоть в дом не ходи: прибьет... так и ночевала в хлеву — сколько раз — хоть летом, хоть зимою...»

«...раз, на Троицу, захожу как-то в дом — гляжу: сидят с Савелием за столом... двое... сразу видать, не наши, и вообще не деревенские даже — одеты иначе и говорят по-иному тож... один постарше такой, степенный, борода седая, другой — помоложе да побойчее, на петуха, как бы сказать, похож — сидит себе, а все глазками вокруг бегают: зырк-зырк... кто ж это, я думаю, — коновалы, что ли?... так ведь были недавно в Подгорном коновалы... чудно... сидят, самогонку пьют, потом меня увидали — и давай лыбиться: хоть на хлеб ихние лица намазывай... ну, а после уже, когда Савелий этих гостей спать утомил, сам знак мне рукой сделал, чтоб, мол, за ним поспешила... вышли мы, стало быть, во двор, стали... тут он мне все и объяснил...» — «Что объяснил?...» — «...что кормить меня боле не желает, потому, как замуж таких, как я, все едино, никто не возьмет, а до старости, дескать, еще долго, как ни крути... и что господа вот, такие добрые, хотят взять меня с собою в город, где я буду завсегда в тепле и сытости...» — «И ты... согласилась?...» «А чего ж мне было не соглашаться-то, барин?... Будто мне что хорошее в Подгорном обещалось — да я и сейчас бы согласилась на раз, даже знай я тогда, зачем в город этот везут... вы, барин, коли хотите знать — так я и без этих двоих того и гляди от Колупая сбежала бы... он ведь перед тем раза два уже по пьяному делу ко мне лезть пытался... будто к жене своей... насилу отбилась тогда — а ведь раз отбилась, еще раз, а на третий могла и не сдюжить: Савелий, он хоть и хилый, а мужик как-никак... каково мне супротив него, а?...»

«...так вот и живу здесь уже шесть лет, поди... ничего живу... сперва в «Фонтане» – это в конце самой нашей улицы, там где наличники еще розовые на окнах, потом здесь... ничего себе живем, дружно... мадам у нас о девушках заботится, как все равно родная... и всем господам у нас нравится тоже...»

Час спустя шальной извозчик катил их в город, к гостинице «Палас», в которой Кириенко имел обыкновение останавливаться в прошлые свои визиты. Камелию мадам Бондаренко радостно отпустила на пару дней, поскольку сразу видно, когда господин солидный и ни за что не позволит себе обидеть девушку. В «Герате» это считалось большой удачей, и другие девушки, прощаясь, от души поздравляли ее, даже целовали в губки...

Ночь казалась прохладной после жаркого дня, откуда-то вдруг подул забытый, казалось, напрочь ветерок – свежий и бодрящий. Извозчик поднял верх, и тотчас же, словно по команде, они прижались друг к другу – проживший лучшую половину жизни мужчина и молодая женщина, привычная к несчастью, – две тихих души, два маленьких нелепых человечка, потерявшихся среди русских равнин.

А сверху, из черной, непостижимой человеческому рассудку небесной выси, своими равнодушными золотыми глазами глядели на них неподвижные июльские звезды.

окт. 99 – 24.09.2000

*(с) 2000 Лев Борисович Усыкин, разрешаю использование текста на условиях открытой лицензии Creative Commons CC0 1.0 в течение всего срока действия исключительного права*